

Пролог

Со-открытие мира, или Гений Евразии

Я вырос в сердце Третьего Рима среди осколков вечности. Двор моего детства в маленьком переулке на Таганке был окружен обветшавшими зданиями старообрядческой усадьбы. В углу двора выступала из земли совсем древняя стена непонятного назначения. Дальше, по краю обрыва над сонной Яузой, стояли заброшенные особняки и церкви вперемежку с сараями, а за ними, как венец всеобщего запустения, — разоренный Спасо-Андроников монастырь. И я, любопытный мальчишка, ходил среди разбросанных по монастырскому двору древних могильных плит, стирая варежкой снежную пыль с выбитых на них загадочных букв...

Теперь я понимаю, почему, уже взрослым, попав во Владивосток, я сразу полюбил этот город и его жителей. Ведь советский Владик, несостоявшийся Четвертый Рим (это звание город недолго носил в 1922 году), был наглядным примером присутствия в современной жизни забытого прошлого. Гуляя по его улицам, странно похожим на петербургские, глядя на знакомое с детства смешение стильных особняков и безликих дощатых построек, взбираясь по обледенелым деревянным лестницам на месте каменных маршей дореволюционной постройки, я испытывал все то же странное чувство встречи с *родной чуждостью* жизни. Это чувство окрепло и обрело новый размах после походов по окрестностям города,

усеянным следами разных, но равно канувших в Лету времен: заброшенный аэродром рядом с древней крепостью, доисторическая пещера у заросшего танкового тракта... Позднее, оказавшись на Дальнем Востоке или в Сибири, я снова и снова переживал это чувство открытия забытого и великого прошлого — ничейного и общего, всем чужого и каждому родного. Того, что, по определению, можно открыть только в спонтанности природного мира и полнейшей обыденности человеческого быта. Это неведомое прошлое таилось не в каком-то недостижимом далеке, а в глубине своего кровного, тихо бьющегося сердца. Более того, это чувство родной чуждости приоткрывало таинственно дремлющее где-то на самом дне души ожидание или, лучше сказать, предвосхищение неведомой будущности, непонятно кому предназначенной, но невероятно, фантастически реальной.

Евразия — мир великой, предельной открытости человечества. Здесь незримо — только внутреннему взору того, кто решился жить неопределенностью будущего, — открываются последние глубины человеческой жизни, залог человеческого спасения. Ибо человек может защитить и оправдать себя только безоглядной открытостью тайне мироздания, которая предшествует всему сущему и всякому знанию. Потому не так уж важно, кто и зачем должен быть верен этому исконному, неисповедимому зову бытия. Это открытость, не требующая взаимного признания и узнавания, как часто и бывает на широком, открытом всем просторе или в неприступных горах. Это открытость не данному и известному, а чаемому и неведомому. Открытость высшей полноте и изобилию жизни. В свете этого мудрого предчувствия человек почитаем не за то, каков он есть, а за то, каким может быть. А он может быть *каким угодно*.

Изначальное не преходит и вечно ждет. Соприсутствие забытой древности и неведомого грядущего — вот жизненный нерв евразийского простора, его не менее категорический, чем у Канта, нравственный императив. Китай, всегда бывший наиболее развитой цивилизацией Восточной Азии, теперь, являясь локомотивом развития региона, демонстрирует эту связь с поразительной наглядностью. По сей день там то и дело открываются взгляду случайного фотографа скрытые под наслоением времени древние лики

богов и даже их гигантские статуи, которые считались давно исчезнувшими. А рядом вдруг вырастают ультрасовременные аэропорты и станции скоростной железной дороги, вокруг которых тянутся к небу гроздя небоскребов, словно сошедшие с картинок утопий столетней давности. На невидимом тропе, связывающем незапамятное прошлое и невообразимое будущее, человек Евразии *скользит* по миру мимо всего данного и застывшего.

Всеместительность души — вот источник силы и подлинная тайна евразийского мира. Его история показывает, что люди могут жить в душевном согласии, даже ничего не зная друг о друге. Пространство такого совершенно непритязательного, спонтанного общения по-евразийски, повсеместной совместности, произвольной переключки голосов мира без их смешения есть точка *вездесущей беспредметности*, лежащая по ту сторону и знания, и всякого частного и, следовательно, субъективного и нарциссического действия. Недаром для мудрецов Востока мир был бесконечно разнообразным хором «переменчивых голосов», где звуки перекликаются в спонтанном ритме самой жизни, не подчиняясь правилам и расчетам.

Великим литературным памятником этому опыту открытия себя в другом стало творчество ученого и писателя Дальневосточного края Владимира Арсеньева¹. Вроде бы всем в России известное со школьной скамьи, оно все еще мало осмыслено и не стало для нас тем, чем должно быть: откровением русской судьбы, вестником русской всемирности. Кажется, впервые Арсеньев пережил это откровение, составившее смысл его жизни, слушая, как и положено на бескрайних просторах Евразии, рассказ незнакомого ему старика-маньчжура о неведомом царе Куань-Юне и причинах запустения новоприобретенного края:

«Старик говорил пространно и красиво. Слушая его, я совершенно перенесся в то далекое прошлое и забыл, что нахожусь на реке

.....

¹ Здесь и далее в суждениях об Арсеньеве я отчасти опираюсь на наблюдения и материалы историка-дальневосточника В. Н. Соколова (*Соколов В. Н. От издательства // Арсеньев В. К. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 3. Владивосток: Рубеж, 2012*).

Тадушу. Не один я увлекся его рассказами: я заметил, что китайцы в фанзе притихли и слушали повествование старика... Наконец старик кончил. Я очнулся. В фанзе было душно, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Небо было черное, звезды горели ярко и переливались всеми цветами радуги, на земле тоже было темно. Рядом в конюшне пофыркивали кони. В соседнем болоте стонала выпь, в траве стрекотали кузнечики... Долго сидел я на берегу реки. Величавая тишина ночи и спокойствие, царившее в природе, так гармонировали друг с другом. Я вспомнил Дерсу, и мне стало грустно...»

Легенда о царе Куань-Юне и даже упоминание о Дерсу Узала в этом пассаже не основаны на фактах. Перед нами всецело литературный образ. Нельзя даже сказать, что слушатели старого маньчжура или он сам верили в это повествование и, как принято сейчас говорить, отождествляли себя с его героями. Перед ними просто разворачивались образцы человеческих поступков и характеров, проявившиеся «во время оно» и навеки там застывшие в стороне от брэнной повседневности. Но безошибочно реален описанный в нем опыт встречи с вечностью, когда эхо неведомой древности и вечносущие звуки живой природы сливаются в актуальности переживания, придавая ему редкостную остроту и глубину проникновения в природу вещей. Этот опыт с беспощадной ясностью открывает человеку, что он конечен, что его удел — смерть и тлен, но именно поэтому ему дано неизмеримо больше того, чем он, как ему кажется, обладает. И поэтому в брэнности человека — залог его вечности. Сознание своего присутствия «здесь и сейчас» предполагает способность вместить в себя все времена и весь простор мироздания. Оттого же всякое «здесь» одновременно находится и «там». Одно удостоверяет другое. Вот откуда эта тревожная, казалось бы, беспричинная и все-таки светлая взволнованность писателя. Помимо прочего, это страшное и радостное откровение учит понимать, что человеку нечего оспаривать у своих братьев, что мир принадлежит всем и люди становятся воистину людьми, когда сообща открывают его *баснословные* и все же совершенно реальные богатства. Человеческое общение — не игра с нулевой суммой, не жестокий выбор: либо я, либо он. Общение

обогащает всех. В любовном прикосновении, в дружеском сотрудничестве — и, наверное, только благодаря им — люди способны открывать друг для друга полноту и радость жизни.

Сегодня патриотизм воспитывают установкой памятников и пропагандой «правильного» взгляда на историю, но подлинная любовь к родине проистекает как раз из открытости, как сказал бы Н. Ф. Федоров, родной в своей чуждости глубине времени и пространства. И если поиски русского духа еще имеют смысл, то искать его надо не в предписанной всем и, в сущности, придуманной «общей судьбе», а в этой общей для всех открытости миру, в которой только и открывается мир.

Противоположная позиция слишком хорошо знакома по националистическим движениям современности — этим угрюмым детищам неисцелимо агрессивного западного модерна. В одно время с Арсеньевым В. В. Розанов, посещая Бессарабию, слушал рассказ местной помещицы о трудах археологического общества в Бухаресте, которое раскапывало римские могилы, а потом объявляло соотечественникам: «Мы — римляне, мы — Европа, и нисколько не славянство, не Восток». «Это — ошибочная тенденция, — утверждала собеседница Розанова, — потому что воспоминание неживое есть уже не воспоминание, а какое-то шевеление чужих гробов. Народу это непонятно и чуждо...» И сам Розанов из пребывания в тех местах вынес убеждение, что «ласковый и приветливый молдаванский народ, доверчивый, прямой и наивный, сам собою сливается с русским населением» и что между молдаванами и русскими «нет раздора и даже непонимания, а, напротив, есть полное интимное понимание, только без слов, как есть такое понимание между матерью и ребенком в люльке...»².

Скажу больше: такое прирожденное безмолвное понимание допускает и разобщенность, и даже открытое противостояние и конфликты. Ну да «милые бранятся — только тешатся». Между тем бессознательное понимание между матерью и ребенком есть главная метафора социальности и стихии народной жизни на Востоке. Оно не может быть формализовано и потому неспособно оказать

.....
² Розанов В. В. Иная земля, иное небо. М.: Танаис, 1994. С. 586.

сколько-нибудь внятного сопротивления интеллигентскому просвещенчеству, весь смысл которого состоит в том, чтобы оправдать индивидуалистическую рефлексию и на этой почве разделять и сталкивать народы, классы, культуры.

Но вернемся к Арсеньеву. Элегическое настроение, вырастающее из непримиримого контраста между чувством причастности к вечности и сознанием человеческой бренности, неотступно преследовало его и в литературном творчестве, и, конечно, в самой жизни. Чтобы пережить его, необязательно вслушиваться в «заветные преданья старины». Арсеньеву было достаточно прийти на заброшенное кладбище русских моряков или даже на то место, где два десятка лет тому назад он сам с трудом пробирался по девственной тайге, а теперь обнаружил пикник молодых людей, приехавших туда на автомобиле. «Таким пионерным экспедициям, как мои, пришел конец, — все с той же грустью заключает по этому поводу Арсеньев. — Век идеализма и романтики кончился навсегда».

Ностальгия Арсеньева — совершенно естественная и даже неизбежная спутница всех личных воспоминаний. Ведь в этих воспоминаниях нам дается только нечто безвозвратно ушедшее, навсегда потерянное. Побороть ностальгию можно лишь дойдя до пределов личной памяти и открывшись незапамятному. Поистине, где опасность, там спасение. Приняв до конца боль утраты, мы обретаем радость новой жизни. В памятниках забытого прошлого таится обещание великой будущности. На бескрайних просторах Евразии от черноморских степей до уссурийской тайги мы всюду видим только «следы вечности», «тени забытых предков», упраздняющих собственно человеческую историю, набрасывающих на дела и мысли людей покрывало чарующих сказок и легенд. В этих следах не только навсегда исчезнувшее прошлое, но и обещание неведомого нового.

Судьба человечества свершится тогда, когда с лица Земли будет стерто все преходящее, историческое и на нем проступит в его безмерном величии образ небесного бытия — всегда грядущего, а потому абсолютно реального. Пусть век географических открытий рано или поздно кончается. Век открытия небесного предназначения человека не кончается никогда. Человек, оставаясь самим

собой, не может обойтись без «пионерных экспедиций», служащих делу его самопознания. Человек не может жить без стремления испытать себя и раскрыть тайну, которая есть он сам. Что-то непостижимое в нем, какая-то божья искра в его душе требует от него уйти от себя, превзойти себя, чтобы прийти к себе. Знаки вечности, составляющие подлинный ландшафт Евразии, показывают человеку путь в неисповедимую глубину его души.

Вопрос вопросов нашего времени в том и состоит, как опознать вечное и, следовательно, вечно иное в человеке в эпоху уже явственно обозначившегося на горизонте истории совершенства технического господства человека над миром. Эта власть над миром — дьявольский соблазн, напомним — отнимает у человека самое ценное: возможность идти вперед и верить в будущее. В такое время остается надеяться на то, что люди, сделав машины своим идеальным подобием и избавив себя от необходимости всякого труда и даже творчества, захотят... быть людьми. Единственное достойное человека занятие есть усилие *быть собой*.

Оказывается, между опытом первопроходцев диких земель, открытием доисторических глубин жизни и опытом завершения истории, замещения природы техникой имеется внутренняя связь. Высшая, сверхисторическая диалектика человеческого бытия заключается в следующем: чем больше человек объективирует себя и подчиняет себе природу, тем меньше в его мире остается подлинно человеческого и тем настойчивее он ищет себя за пределами всего «слишком человеческого». Для опыта самопознания человек способен находить пищу всегда и всюду, в любых обстоятельствах и даже в каждое мгновение своей жизни. В одно время с экспедициями Арсеньева еще молодой тогда поэт Максимилиан Волошин, живя в пустыне Туркестана, выразил то же откровение, прямо обращаясь к небесам, ибо это откровение, как лучше других знают обитатели пустыни, намертво вписано в небесный узор:

*А по ночам в лучистой дали
Распахивался небосклон.
Миры цвели и отцветали
На звездном дереве времен.*

Евразия ценна тем, что предъявляет не доктрины и системы философии, а запечатленное в «памятниках непамятуемого», в необозримости мирового простора откровение самой жизни. В свете этого откровения культурные артефакты, все окружающие человека вещи втягиваются в могучий вихрь мирового духа, сливаясь с природной средой. Здесь культура и природа не подчинены отвлеченным идеям, но сходятся вместе и друг друга пронизывают в необозримом, хаотически текучем *мареве* мировой всеобщности, где жизнь уже неотличима от смерти, присутствие удостоверяет отсутствующее.

Нельзя не видеть, что Россия уже в силу своей географической величины и культурного разнообразия призвана с особенной настойчивостью напоминать об этой правде евразийского мира. Умом Россию не понять по той простой причине, что ее нельзя умом охватить и сделать «предметом рассмотрения». Верность своему призванию ставит Россию в оппозицию всем частным, провинциально-ограниченным цивилизациям, которые всегда утверждают в том или ином виде тождество понятий и вещей, должного и сущего и тем самым замыкают общество в болезненно-нарциссическом гуманизме.

Современный, претендующий на роль глобального центра Запад представляет качественно новое и, по сути, неоднозначное, переходное явление рациональности, поднявшейся над культурной спецификой, но не вышедшей за грань саморационализирующегося *ratio*. Он ставит вопрос о пределах своей рациональности, но стремится оправдать себя столь же многообещающим, сколь и бесплодным самоотстранением в вездесущем критицизме. Но критика в своем пределе должна вести к высшей искренности духа, каковая есть открытость не просто всему происходящему в мире, но самой открытости бытия. Для этого нужно и особое понимание, и несравненное мужество. В таком случае Россия имеет все основания претендовать на роль подлинно глобального мира. Ближайшим же прообразом последнего является общность Евразии, в своем роде тоже метацивилизационная. Сама видимая хаотичность, прерывность евразийской истории несет в себе зияние первозаданной цельности мира, побуждает искать сокровенные «ритмы»

мировых процессов, укорененных в самой структуре мироздания. Именно Евразия вследствие своего размера и все того же богатства культурных укладов представляет с наибольшей очевидностью несотворенные, «небесные» истоки человеческой природы, благодаря которым человек способен открыть в себе и свою человечность, и свое человечество.

Нет нужды оговаривать, что в этом качестве Евразия выступает необходимым — и притом важнейшим — фактором осуществления человечеством своего призвания. Изучение евразийского пространства открывает нам поле духовной битвы, определяющей судьбу человечества. Наука и техника движимы бессознательным желанием человека разорвать путы мирской суеты, но творческие дерзания духа, будучи опознанными и опредмеченными, служат духовной помраченности. Миллионы людей отправляются в туристические путешествия, охваченные смутным желанием открыть «небесные» глубины своей жизни, но слишком часто довольствуются фальсификациями этого великого открытия. Людям свойственно обманывать себя, уваливать от своего призвания именно там, где от них требуется беззаветная решимость быть верным правде жизни. Они склонны превращать историю в иллюстрацию своих вымыслов о себе. Они любят окружать себя подделками реальности, внушающими чувство комфорта и защищенности.

Чем же в таком случае оказывается история? Ничем иным, как свидетельством, или, по-другому, следом, отблеском духовного свершения. Это свершение превосходит все общеизвестное и общепонятное и потому заявляет о себе самим фактом своего отсутствия в любом самообразе человека. Оно требует аскетического самоограничения в творчестве, приучает видеть все там, где не видно ничего, и заставляет помнить, что все доброе и прекрасное в человеческой жизни рождается помимо человеческих планов и даже вопреки им.

Не господство над миром и себе подобными и не бессодержательно-абстрактное сосуществование, хотя бы и мирное, но *со-открытие* мира в обращенности к творческой силе жизни и взаимном проникновении актуальности и вечности — вот истинный гений Евразии, который заявляет о себе только в конкретности

места и времени и потому оправдывает бесконечное богатство разнообразия мира. Как прообраз (не)единства или, если угодно, всеединства мира, Евразия не противостоит постисторической реальности Америки и Евросоюза, но дополняет ее и в конечном счете смыкается с ней в точке взаимной открытости всего сущего — в той точке, где каждое существование возводится к его неповторимому голосу. Так она соучаствует в несмолкаемом многоголосии Земли, которое несет в себе силу преобразования мира, восполнения всех вещей. Подлинное человечество может быть только плодом длительной и общей духовной работы, которая есть, помимо прочего, работа взаимного обогащения и дополнения Запада и Востока.



Глава первая

Геополитика пустоты

Евразийский разворот России

Евразийцы первого поколения называли свою программу «предчувствиями и свершениями». Корабль русской истории плывет медленно (отчего русские интеллигенты, как известно, страдают «нетерпением мысли»). Понадобилось почти сто лет, чтобы свершились, по крайней мере, предчувствия евразийцев. Сегодня Россия медленно, но неотвратимо разворачивается в сторону Азии. Это происходит не по чьей-то воле, а просто в силу объективного хода вещей. Интерес русской публики к Европе угасает на глазах. Обнаружилось, что за пределами дипломатического пустословия и кухонной перебранки русским просто не о чем разговаривать с европейцами. Не видно прежнего блеска в глазах русских туристов, по привычке наезжающих в европейские города. К поездкам они теперь относятся по-деловому: приехали, отметились, купили — и домой. Их знакомство с европейской жизнью никак не отразилось на общественном сознании в России.

Украинский кризис оказался моментом истины в самоопределении России. Пропасть между Россией и Европой стала очевидной и для большинства — пугающе необъяснимой. Обнаружилось, что у так называемого «экспертного сообщества» нет никаких концепций и подходов, которые позволили бы выработать хотя бы самую примитивную стратегию действий России в новой ситуации.

Оглядываясь назад, можно только удивляться тому, что давно назревавшие перемены в международном положении и самосознании России не привлекали к себе сколько-нибудь заметного внимания в российском обществе, если не считать нападок на евразийскую идею — естественных и ожидаемых — либералов-западников. Впрочем, по правде сказать, удивляться тут нечему: все действительно объективное непостижимо для субъективного ума и служит источником смутной тревоги и страхов. Человеку вообще свойственно меньше всего замечать как раз то, что составляет его самое глубинное естество, и это, наверное, относится также к целым народам. Европа потому и претендует на роль всемирного образца, что смогла выработать — единственная из всех мировых цивилизаций — последовательно критическое, в сущности, надкультурное самосознание. Насколько эта любовь к критике оберегает от лицемерия — другой вопрос. И еще более важный, тревожный вопрос: не означает ли ясность и натренированность критического взгляда на самом деле утрату чувства реального, слепоты как раз к тому, что является самым важным и существенным в человеческой жизни?

Россия, то ли зависшая между Западом и Востоком, то ли обнимающая, вмещающая в себя весь мир, критического самосознания не выработала. У нас вместо критики печалование, насмешка, гласность, брань, бунт и гражданская война. А интеллигенция, к такому самосознанию стремящаяся, почему-то никак не может найти общий язык с собственным народом и остается инородным телом в собственной стране. Впрочем, и сама власть, которой по определению предписано отомобилизоваться и определить себя, установить некий единый правопорядок, тоже живет больше своими корпоративными интересами, упорно отделяет себя от того целого, что мы называем Россией, и... проваливается в пустоту безбрежно-аморфной страны.

Повторю уже не раз мной сказанное: русская история есть результат систематического непонимания образованной элитой общества основ русского уклада. Говорю об этом без иронии. Непонимание, наивность — великая и даже спасительная сила и в жизни, и в истории. Поучителен пример Америки — страны, по сути, пост-исторической, которая, не умея и не желая договариваться с миром,

пребывая, так сказать, в неведении о мире, тем не менее, а может, как раз благодаря этому, стала мировым гегемоном. Не менее показательный пример — русская революция. В. Муравьев чувствовал себя «оскорбленным антиисторичностью» революционеров, а вот Ф. Степун уже в первый революционный год справедливо подметил, что сила большевиков заключалась как раз в том, что они ничего не желали знать о действительной жизни. Теперь можно добавить, что КПСС подписала себе смертный приговор, когда по недоумию ее вождей взялась пропагандировать успехи «реального социализма».

Перед лицом и Запада, и Востока Россия бессознательно утверждает третий, асистемный путь миропознания. Она ищет свою правду по ту сторону всех ценностей культуры и постулатов разума, диалектических приемов и критических методов. Ее идейное оружие — искренность сердца, ее действительность — вечная утопия.

Проблема евразийского взгляда на современную Россию состоит именно в неспособности его сторонников подняться над злобой дня и сиюминутными интересами. Нынешние официальные доклады и дискуссии о перспективах Евразийского Союза убеждают в том, что наши властные и околотовластные мужи попросту не представляют себе, о чем идет речь, и по разным, но всегда частным и случайным причинам ничего не хотят делать для сближения России с ее азиатскими соседями. Разговоры вертятся вокруг трюизмов географии, таможенных пошлин, валютных расчетов, в лучшем случае культурных стереотипов и мертворожденного «диалога религий». Столичные интеллектуалы, называющие себя евразийцами, Азию знают плохо и, в сущности, остаются интеллигентами европейской выделки.

Не лучше положение на Западе. Даже серьезные и симпатизирующие евразийству исследователи — например американский профессор К. Бекуит, который в своем последнем труде, посвященном «империям Шелкового пути», расточает филиппики против западного модерна и мечтает о возрождении того, что он называет «центральноазиатским культурным комплексом», — не находят ничего лучше, чем посоветовать государствам Центральной Азии объединиться в «просвещенную, либеральную конфедерацию наподобие

Европейского союза»³. Но объединенная Европа — наследница многовековой традиции гражданского права, критической мысли и гуманитарного знания, у нее есть четкие мировоззренческие установки. А на чем может стоять объединенная Евразия? Не дав ответа на этот вопрос, нельзя надеяться и на политическую консолидацию евразийского пространства. И европейский опыт здесь вряд ли пригодится.

Однако если евразийская идея совершенно естественна для России, не означает ли это, что осмысление ее требует не выработанных в Европе методов рационального познания, а иного, возможно, противоположного по форме и целям познавательного метода — некоего «просветленного незнания»? Гуманитарная истина всегда относится к чему-то очевидному и возможному. Правда жизни есть нечто сокровенное и невозможное, ибо она свидетельствует о реальности, которая не может не быть именно потому, что она по всем правилам логики не может быть. Такова правда России.

«Нам необходимо глубже и сокровеннее осознать двойной принцип нашего национального существования...

До сих пор... мы чересчур ходили на учеников, стремящихся несуразными оправданиями смягчить гнев своего учителя»⁴.

Писано о России Федором Тютчевым еще в 1843 году. Под учителями русских великий поэт подразумевал, конечно, европейские авторитеты. Но примечательно, что приведенные слова Тютчева были написаны за границей. Там же, за границей, позднее возникло и евразийское движение. В самой России евразийство или не привлекало к себе внимания, или находилось под строгим запретом. Многим оно казалось чем-то экзотическим и чуждым, очередной интеллектуальной модой. Лет двадцать назад журналисты даже щеголяли выражением «евразийство парижского разлива»... Может быть, оттого многие и сторонятся евразийской идеи, что

.....

³ Beckwith C. Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton: Princeton University Press, 2009. P. 313

⁴ Тютчев Ф. И. Россия и Запад. М.: Культурная революция, 2007. С. 54.

видят в ней еще одно поверхностное интеллигентское увлечение и тайное желание еще раз поклониться иностранным учителям — на сей раз, может быть, одновременно западным и восточным.

Грустно, но факт: со времен Тютчева положение не изменилось. Представители Европы и сегодня разговаривают с Россией словно с «нерадивым учеником». Как всегда, они упрекают Россию в авторитарной природе русского политического режима и сопутствующих авторитаризму ущемлениях прав и свобод личности. А в ответ слышатся, как всегда, несуразные оправдания: с одной стороны, демократические институты мы вроде бы завели по всей форме, а с другой стороны, реальной демократии вроде бы нигде нет и быть не может. Вот и пойми этих русских...

Что же касается евразийских мотивов в русской мысли, то они, в сущности, так и не вышли из области смутных предчувствий. Евразийская тема рождена русской революцией, катастрофическим разломом в русских умах, в русском обществе и в русской истории. Такова романтическая утопия скифства, но таково же было и претендующее на научность заграничное евразийство, торопившееся предъявить «бесспорные истины» о России. Как детище революционной эпохи евразийство не могло не быть захваченным мутным потоком, несшим Европу к тоталитарщине и всеобщей войне. Упование — за неимением других идеалов — на идеократию привело евразийское движение к быстрому и бесславному концу. Тоталитаризм проглотил евразийство, не разжевывая, ведь оно было для него, в сущности, или, точнее, в исторической потенции, инородным телом.

В этом пункте следовало бы задержаться и высказаться подробнее. Критики обвиняли основоположников евразийства в непонимании свободы личности, масштабов и трагизма этой свободы, ее значения для культурного творчества. Они упрекали евразийцев в желании «свести тяжелые задачи действительной жизни к внешнему общественному строительству и даже простой организации, при жутком нечувствии трагической проблематики духовно-культурного творчества»⁵.

.....
⁵ Флоровский Г. В. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 323.

Обвинение по меньшей мере спорное, а в последней своей части и явно несправедливое. В нем отразились типично европейские страхи перед «желтой опасностью», ордами «бездуховных азиатов», которые вот-вот сметут христианские ценности Запада. Но надо признать, что евразийство первой волны, пытаясь найти определение «органической цельности» народной жизни, сформулировать «народный дух» на языке партийной программы, попало в общий для модернистских идеологий капкан догматического мышления, которое устанавливает жесткие, «единственно правильные» связи между понятиями и вещами. В этом отношении евразийство было не лучше и не хуже интернационализма ВКП или реакционного национализма Белого движения. Но упрек Флоровского имеет и более глубокий смысл. Он лежит в рамках традиционной для западной литературы антитезы европейского Просвещения и азиатского, характерного также для русского православия культа духовной «просветленности». Первое, как утверждал еще Кант, воспитывает морально зрелого и ответственного гражданина. Второе, по понятиям европейского гуманизма, оставляет личность в состоянии инфантильной и, по сути, асоциальной и даже антисоциальной слитности с миром, обрекая ее на подавленность, агрессию и вездесущее, неисправимое лукавство⁶, когда «люди врут без пользы, цели и смысла» (отзыв В. Биbihина о русских нравах, прямо отсылающий к их гипотетическим азиатским корням). С этой точки зрения азиаты могут иметь только насквозь коррумпированное государство.

Историческому евразийству, как и предшествовавшим ему попыткам создать собственно русское мировоззрение, на самом деле свойственно эклектическое смешение азиатского «всеединства» и европейской аналитической рациональности. Неудивительно, что его программа, подобно наследию тех же славянофилов, осталась собранием разрозненных наблюдений и интуиций, часто

.....

⁶ *Kristeva J. Crisis of the European Subject. NY: Other Press, 2000. P. 149.* Кристева прямо называет духовный опыт исихастов нисхождением в ад, что странным образом совпадает с известной максимой старца Силуана: «Держи ум в аду и не отчаивайся».

интересных и глубоких, но по-настоящему не оцененных и даже едва ли понятых. До сих пор в России ограничиваются описаниями, призывами, нравоучениями, а часто откровенными фантазиями. Нельзя сказать, что нет движения вперед. Сибирские ученые — философы, археологи, этнографы — описали основные факты, определяющие историко-культурную общность Евразии⁷. Однако фундаментальные исследования малочисленны, а те, что имеются, почти все изданы за рубежом⁸. Вошло ли в обиход отечественной науки оригинальное понятие «месторазвитие» у евразийцев? Кого-нибудь интересует предложенное евразийцами различие между демократией и демотией? Кто-нибудь попытался определить значение для истории и теории культуры тезиса Николая Трубецкого о неразрывном единстве власти, религии и быта у кочевых народов Евразии и в Московской Руси? По-прежнему евразийство остается только заявкой на будущие открытия или, как выразился один его ранний критик, «настроением, желающим быть философией». По-прежнему сильно желание «оправдаться перед европейскими учителями», даже отвергая универсалистские претензии Европы. Тот же Л. Гумилев потратил немало времени и сил, чтобы доказать, что у Евразии была не менее богатая история, чем у Европы, и не менее значимые философы. Но надо бы внимательнее посмотреть, какая история могла быть в Евразии и каких философов она могла вырастить.

Разумеется, исследования Евразии наталкиваются на немалые трудности объективного свойства. Они требуют тесной координации усилий ученых очень разных специализаций: историков, археологов, этнографов, философов, экономистов, политологов, религиоведов. Но главная трудность в другом: эти исследования требуют

.....

⁷ См.: Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация / Под ред. Ю. В. Попкова. Новосибирск: Нонпарель, 2010.

⁸ С историей евразийства русскому читателю приходится знакомиться по переводу книги французской исследовательницы М. Ларюэль, почти запрограммированно тенденциозной. См.: *Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи*. М.: Наталис, 2004. (В оригинале подзаголовок книги выглядит иначе: «Как мыслить империю».)

нового взгляда на человеческую историю. Цель данного очерка как раз и состоит в том, чтобы открыть новые перспективы изучения евразийского мира. Его неполнота неизбежна и слишком очевидна. Самая существенная лакуна — отсутствие анализа исламского фактора и природы индийской цивилизации. Однако автор предпочел сосредоточиться на аспектах евразийского мира, относящихся к области его профессиональных интересов, в надежде, что указанный недостаток будет со временем исправлен компетентными исследователями.

Константы Евразии

Не умаляя достижений ученых, посвятивших себя изучению Евразии в прошлом, я намерен предложить собственное видение исторических, философских и культурных основ евразийской общности. Если Евразия представляет собой целостный регион, то должны существовать и некие постоянные элементы ее историко-культурного бытования. В евразийском движении с самого момента его возникновения не прекращаются дискуссии о константах евразийского мира. Таковыми могут выступать особенности рельефа, климата и другие факты физической географии, таинственные биокосмические ритмы, заменяющие историю, или, наконец, различные факторы политики и общественной жизни.

Даже самое беглое знакомство с евразийским миром позволяет заключить: законы его организации и развития кардинально отличаются от принципов, обуславливающих единство европейской ойкумены. Географически Евразия есть, прежде всего, большое пространство, великий простор, во всех отношениях представляющий прямую противоположность Европе, этому своеобразному мысу или «носу» Евразии, сующемуся в дела всего мира, подставляющему себя всем его ветрам — и отстраняющемуся от них, методично и упорно обустривающему свое внутреннее пространство, выстраивающему свою идентичность. Европейское пространство — относительно замкнутое, хорошо артикулированное, воспитывающее чувство четкой, пластически законченной формы. Такие корифеи современной европейской мысли, как Ж. Деррида,

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru